

АРКАДИЙ И БОРИС
СТРУГАЦКИЕ

АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
В54

Серия «Книги братьев Стругацких»

Серийное оформление
и компьютерный дизайн *В. Воронина*

Витицкий, Сергей.

В54 Поиск предназначения: [роман]: Сергей Витицкий. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 448 с. — (Книги братьев Стругацких).

ISBN 978-5-17-100320-3

В этот том вошел «сольный» роман Б.Н. Стругацкого «Поиск предназначения», опубликованный им под псевдонимом С. Витицкий, — истинный шедевр социально-философской фантастики.

История упрямо хранимого некими высшими силами инженера-программиста, который чувствует эту защиту судьбы и мечется в поисках смысла своей жизни, начинающаяся в эпоху «оттепели» и завершающаяся в «лихие девяностые», потрясает глубиной психологизма и тонкостью притчевого начала ...

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

Милым друзьям моим, с которыми я сегодня — чаще или реже, но — встречаюсь, и тем из них, с которыми, может быть, не встречу теперь уже больше никогда.

ОТ АВТОРА

У всех, без исключения, героев этой книги несколько прототипов. Черты этих прототипов в каждом из героев перемешаны в достаточно произвольной пропорции. То же можно сказать и о наиболее острых из описанных в книге ситуаций. Поэтому, хотя многое и даже очень многое здесь — незамысловатая калька с реальности, бессмысленно задаваться вопросами типа: «кто есть кто, что есть что, где и когда именно?»

Большинство процитированных в книге «машинных» афоризмов взяты автором из сборника «Компьютерные игры» (Лениздат, 1988). Автор пользуется случаем выразить свою благодарность и восхищение создателю соответствующих программ для ЭВМ Д. М. Любичу.

Эволюция не может быть справедливой.

Фридрих Хайек.

Пагубная самонадеянность

Часть первая

СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЬЧИК

ГЛАВА 1

...Вдруг наступает такой момент, когда ты ощущаешь потребность подвести итоги, сказал тогда Станислав. И вовсе не обязательно это случается с тобой на старости лет... (Он испытывал приступ глубокомыслия.) И не обязательно тому должна быть какая-то особая причина! Происходит вот что: некто, живущий внутри и обычно занятый своими делами, вдруг отвлекается от этих дел и задумчиво произносит: «Что же, сударь мой, кажется, нам пора подводить итоги...»

Виконт выслушал этот период благосклонно, хлопнул трубкой и произнес: «Покупаю. Записывай...» Но Станислав ничего записывать, естественно, не стал — он прислушивался к своему внутреннему ощущению, понимая уже, что это — предзнаменование. Ощущение постепенно пропадало, теряло остроту... определенность... первоначальную свою свире-

пую многозначительность — ясную непреложность счастливого стиха... Он так и не понял, какие, собственно, итоги понадобилось ему вдруг подводить.

Это происходило в тысяча девятьсот семидесятом году, весной, в день, когда Станиславу стукнуло тридцать семь. Точнее, вечером того дня, а еще точнее — ночью, когда гости все уже разошлись, мама принялась прибирать посуду, а Станислав вместе с другом своим Виктором Кикониным (по кличке Виконт) пошли проветриться, а проветрившись, вознамерились еще немного посидеть — теперь уже у Виконта.

Была бутылка розового «Вин-де-масэ», был крепкий кофе со сливовым вареньем, гитара тихонько звенела, и двое творцов, подлинных поэтов, двое кровных друзей, почти братьев, осторожно и с чувством выводили:

На штурвале застыла рука,
Мачты срезал седой туман,
Тяжело на душе моряка,
Впереди только ветер и тьма...

(Стихи коллективного автора: Красногоров плюс Киконин, музыка — его же.) Почему-то Станиславу вспомнилось, что он неоднократно тонул. Собственно, он тонул трижды. В первый раз — совсем маленьким, еще до войны, в каком-то пруду Лесного парка. Мама сидела на бережку и разговаривала с тетей Лидой, а маленький Слава плескался сначала на мелководье, а потом решил сходить вглубь. Сперва под ногами было твердо, потом появился тоненький и противный слой ила, потом — что-то вроде кирпичного поребрика, а потом не стало ничего. Плавать Слава не умел. От страха он широко раскрыл глаза, увидел тусклый свет сверху, колышущуюся тьму впереди и забился судорожно, уже зная, что — пропал. И вдруг под ногами снова появилось твердое с тоненьким слоем ила. Он быстро выбрался на берег и сел рядом с

мамой на разостланное покрывало. Никто ничего не заметил. И ничего вокруг не изменилось. И он вдруг подумал, что на самом деле он уже утонул, а на покрывале вместо него сидит кто-то другой, но никто этого важного обстоятельства не замечает. И вот именно (и только) в этот момент он испытался по-настоящему.

Второй случай был гораздо интереснее. Это была довольно странная история. Уже во время войны, в эвакуации — они жили в деревушке Кишла Чкаловской области, — Слава с деревенскими ребятами затеял кататься в лодке. Они залезли в лодку впятером, разобрали весла, и вдруг Толька Брунов заорал ужасным голосом и сделался белый, как молоко. Это уже и само-то по себе было страшно до судороги, а тут еще Слава увидел, ПОЧЕМУ Толька орет: на корме, на каких-то драных тряпках, сидел, оказывается, чудовищный, громадный, зеленый с красными пятнами паук величиною с кулак. Слава и вспомнить потом не мог, как очутился в воде. Все пятеро оказались в воде, а лодка не перевернулась разве что чудом. Слава к этому времени уже научился плавать, он вынырнул и только было нацелился рвануть изо всех сил к недалекому берегу, как обнаружил, что прямо перед лицом его, раскинув зеленые ноги во все стороны, качается на воде все тот же паук и смотрит на него кровавыми россыпями блестящих глазок, которых у него было — миллион. И вот тут Слава отключился. Больше он ничего не запомнил. Ребята рассказали потом, что он плавал неподвижно у самой поверхности, так что затылок торчал наружу, и был в полной отключке. Его по-быстрому вытащили и откачали. Паука больше никто не видел. Потом, много позже, уже снова в Ленинграде, уже взрослый, Слава перерыл множество определителей членистоногих и даже ходил консультироваться в Зоологический музей, и все зря — неизвестен оказался биологической науке этот странный и страшный паук. Не

существовало его в природе, во всяком случае — на российских широтах...

А про третье утонутье... утопитие... «катастрофическое погружение в воду с невыходом из оной...», про третье — Станислав сколько-нибудь подробно вспоминать не любил, а тем более — рассказывать. Там тонула целая команда — шесть парней, четыре девушки: провалились под лед на Ладоге во всем своем обмундировании, с чудовищными рюкзаками своими, с палатками... Одна девушка утонула совсем, а Слава выплыл. Не должен был выплыть, если по-честному, но — выплыл...

Так был начат отсчет. Ни с того ни с сего, по сути дела. Совершенно случайно.

Он рассказал все три случая Виконту, и Виконт (с некоторой горечью) признался, что сам он не тонул ни разу. Если не считать детского случая с подрывом на детонаторе, он вообще никогда не подвергал свою жизнь опасности. Станислав удивился. Ему в голову немедленно пришло еще три или даже четыре случая, когда он был на волосок от гибели. Это была самая простая штука — оказаться на волосок от гибели. Он не поверил Виконту. Он решил, что Виконт, по обыкновению, темнит. Виконт был темноло, темноло вульгарис.

Работал он в «ящике», и совершенно непонятно было, чем он там занимается. «А, ерундой разной...» — отвечал он обычно на расспросы и брезгливо кривил при этом свое длинное бледное личико — врал. Занимался он, надо было думать, вовсе не ерундой. За последние десять лет он успел уже раз сто побывать за границей. Причем все время в каких-то диковинных странах, куда нормальные советские люди никогда и не ездят: Бразилия, Лесото, Гайана... Почему-то — Иран. На кой хрен советскому человеку, окончившему Четвертый медицинский, ездить в Иран?

Добиться у Виконта сколько-нибудь вразумительного ответа было невозможно. Он никогда и ничего не рассказывал о своей работе. Никому. Да и некому было ему об этом рассказывать. У него не было друзей, если не считать Станислава.

Когда у Станислава собиралась обычная компания, Виконт (изредка) вдруг ни с того ни с сего принимался рассказывать о чужих странах. Рассказчик он был редкостный. Все затихало, когда на него это находило, и слушали не дыша, боясь, что он спохватится и закончит говорить так же неожиданно и беспричинно, как и начал.

Начинал он всегда с середины, с некоего непонятного пункта, представлявшегося ему, видимо, ключевым.

— ...Белый пояс вокруг горы...— начинал он, например.— Белые деревья... вернее, белые СКЕЛЕТЫ деревьев в тошнотворном, ядовитом тумане. Будто под ногами не дикая гора, а какое-то забытое богом испаряющееся кладбище... кладбище нелюдей... И в тумане — колючие остролистые растения, которые называются здесь «терновый венец Христа»... И гигантские пауки, раскинувшие паутину между растениями... Земли не видно совсем — сплошь густой уродливый мох да ямы, наполненные черной водой, а на каждом белесом стволе — омерзительные, скользкие, многоцветные грибы...

Узкое лицо его становилось серым, словно от невыносимой внутренней боли, голос садился — воспоминание мучило его как болезнь. Эти рассказы, и даже не сами рассказы, а манера рассказывания, производили на слушателей впечатление ошеломляющее. И на Станислава, разумеется, тоже. Виконт казался ему в эти минуты сверхчеловеком, или человеком из ада, или даже оборотнем — он переставал узнавать его в эти минуты... А потом он вдруг встретил один из Виконтовых рассказов в книжке, изданной Географгизом (кажется, это был Кауэлл, «В сердце леса»). Совпадение было

почти дословное. В первый момент он глазам своим не поверил. Потом — разозлился. Потом восхитился. А потом подумал: какого черта он это делает, пижон задрипанный?..

Конечно, он был пижоном. Он был пижоном во всех своих проявлениях — в разговоре, в литературных пристрастиях, в обыденной жизни. Становясь в очередь к пивному ларьку, он мог спросить с неописуемым высокомерием: «Н-ну-с, кто тут не побоится признаться, что он последний?» На дрожащих с похмелья, остервенелых алкашей это производило неизгладимое впечатление...

На низеньком полированном столике у него стояла обширная деревянная чаша, черная, с золотыми драконами. С острова Минданао. Чаша была полна курительными трубками. Их там было штук тридцать — от самодельных, корявых негритянских носогреек до тяжелых, прикладистых, словно пистолет, самшитовых (?) — музейных, антикварных, именных... Он, не глядя, запускал левую свою, беспалую, руку в эту грудку, в эту кучу, в эту провонявшую перегаром роскошную свалку, безошибочно извлекал искомое, привычно орудуя, набивал, раскуривал от спички, закутывался медвяным дымом — щурил левый, слепой, глаз... И вдруг произносил с подвыванием:

Ты сидишь у камина, и отблески красного света
Мерно пляшут вокруг, повторяя узоры портьер,
И, рыдая над рифмой, читаешь ты мраку сонеты,
И задумчиво смотрит на тебя твой седой фокстерьер...

На козетке луи мирно дремлет мартышка из Само,
И картины Ватто застилают клубящийся мрак,
Ты сидишь у камина, закутавшись в шаль «димуамо»,
На коленях твоих шевелится страницами Стак...

«Кто такой Стак?» — осведомлялся Станислав, стараясь преодолеть впечатление. «Какая тебе разница?.. — отвечал Виконт с величественным раздражением. — Ну, например:

СТА-нислав К-расногоров — это тебя удовлетворяет?» — «Ладно, хорошо... А почему Само? Нет никакого Само, есть — Сомо». — «Потому что димуАмо — звучит, а димуОмо — нет». И это было совершенно справедливо: димуамо — звучало, а димуомо почему-то — нет...

Когда они познакомились (в пятом классе), это был мелкий, не опасный, но остроумный хулиган. Он ходил тогда в клешах, развалистой походкой бывалого моричмана и носил тельняшку. Он был шкодник. Мастер шкоды. Однажды они вместе дежурили в классе на перемене. Была весна сорок пятого. Класс гудел, топотал и клубился в коридоре, а они сидели на подоконнике классной комнаты на втором этаже и смотрели вниз. Сначала там не было ничего интересного, а потом вдруг на панели под самым окном объявился директор школы. В шляпе. Выдержать это было невозможно, и Виконт (тогда он был еще всего лишь Кикон, или Киконя) сейчас же харкнул на эту шляпу и, разумеется, попал.

Все было как в душном тягучем кошмаре. Как в замедленном кино. Директор остановился... аккуратно снял шляпу... внимательно изучил свисающее с нее... и принялся — неописуемо, мучительно, изнуряюще медленно — поднимать голову...

Их вихрем снесло с подоконника. Они, как две торпеды, вылетели в коридор, и тут Станиславу показалось, что Кикон совсем обезумел от страха: он вдруг подскочил к Папаше — самому страшному, беспощадному и могучему хулигану пятого «А» класса — и залепил ему по рылу!

Папаша обалдел. Он был на две головы длиннее маленького Кикона и с высоты своего роста пучил на него очумелые свои шары, совершенно, видимо, утратив сцепление с реальностью. Тогда Кикон влепил ему по морде вторично... И вот тут — началось!..

«Киконя Папаше по чавке накидал!» — пронеслось, казалось, по всей школе. Мгновенно образовалась толпа жадных зрителей и болельщиков. Папаша наконец осознал, что с ним произошло, и, ревя дурным голосом, обрушился на наглеца, работая сразу всеми четырьмя своими гигантскими конечностями... Так что, когда директор со шляпой и со всем, что с нее свисало, возник, наконец, в коридоре, на него сначала даже не обратили внимания.

«Кто это сделал?» — гремел директор, высоко воздевая шляпу, но его не слышали и не видели. «Прекратить драку!» — гремел директор, но это уже была не драка, это была воспитательная работа, спецпроцедура, и прекратить ее просто так было невозможно... И когда наконец порядок установился и в наступившей подобострастной тишине директор задал свой ГЛАВНЫЙ вопрос: «Кто дежурный?!», Кикон радостно откликнулся: «Я!» — с кровавым носом, с подбитым глазом, в рубаше, разодранной до пупа, — и сразу же стало ясно, что это — не он преступный грешник, что ТАМ его не было, его там просто не могло быть, он был ЗДЕСЬ, а кто был ТАМ — он не знает и знать никак не может...

«Где умный человек прячет лист? В лесу». Честертон они прочли двумя-тремя годами позже и не слишком высоко оценили его тогда — после Конан Дойла, Луи Буссенара и Понсон дю Террайля.

Летом сорок пятого Кикон подорвался на детонаторе. Он в очередной раз сгонял с огольцами за город, где на полях недавних боев еще разлагались не похороненные толком люди и погибали без всякого проку тысячи и тысячи единиц разнообразнейшего оружия. Из этой своей последней поездки приволок Киконя мешок добра, главным образом — пучки желтоватых макарон бездымного пороха, да мотки бикфордова шнура, да великое множество разнокалиберных патронов от

стрелкового оружия всех видов... Добро он спрятал в подвале родного дома, а в комнату к себе взял только красивую многоцветную металлическую штучку размером с карандаш. В этом карандаше он и принялся ковырять перочинным ножом, стараясь красивую штучку развинтить на части. Штучка — рванула.

К счастью, бабушка оказалась дома, она вызвала знакомого врача из Военно-медицинской, и Кикона увезли в больницу — сюда же, рядом, в Военно-медицинскую академию... Три пальца на левой руке пришлось отнять, мизинец и безымянный уцелели. В левом глазу навсегда остался маленький осколок — он был медный, и его поэтому не сумели извлечь магнитом. Из правой ладони был выдран большой кусок мяса и кожи. Дабы возместить утраченное, врачи прирастили Киконе правую руку к животу, а возникшую перемычку каждый день разминали раскаленными щипцами, чтобы постепенно отсоединить. (Такие операции тогда, видимо, были в моде. В палате с Киконей лежал воин, которому эскулапы таким же вот образом наращивали утерянную в боях красоту: он ходил с левой рукой, соединенной кожно-мясной перемычкой с тем местом, где у него раньше, до ранения в лицо, был нос. По словам Кикони, во всех остальных отношениях воин был абсолютно здоровый и даже здоровенный мужик. Каждые полмесяца он регулярно уходил из клиники в самоход, к бабам, там обязательно ввязывался в пьяную драку, и в драке ему обязательно обрывали эту его перемычку. Утром он, весь в крови, возвращался с покаянием в палату, и врачи начинали все сначала.)

Киконя пролежал в больнице больше полугода, и, когда он снова появился в классе, это был уже совсем другой человек. В нем вдруг обнаружился интеллектual. Оказалось, что он начитан, хорошо играет в шахматы и довольно свободно читает по-немецки и по-английски. С ним стало интересно

разговаривать. О книгах. О кино. О марках. Он способен был с изысканной небрежностью толковать о Мату-Гросу, Великой Сабане и о таинственных *мезас*, послуживших прообразом Затерянного Мира. Он без запинки перечислял имена первобытных чудовищ, таящихся в трясинах Конго и Убанги-Шари: лдау, шипекве, липата, мокеле-мбембе, аилали, бадигуи, нгакуола-нгоу... Станислав обнаружил все это с некоторым удивлением, и они стали общаться регулярно. Тем более выяснилось, что Кикон с бабушкой и с дедом, медицинским генерал-лейтенантом, профессором Военно-медицинской академии, живет, оказывается, как раз напротив Станиславова дома, так что они могли через улицу обмениваться условными жестами, а также перемигиваться электрическими фонариками по системе Морзе.

ГЛАВА 2

Рукопись свою Станислав начал следующим образом:

«Свою Основную Теорему я мог бы сформулировать прямо сейчас, но это, наверное, было бы неправильно. Наверное, правильно будет, если эта Теорема возникнет из текста по мере его прочтения, как неизбежный вывод, абсолютно логичный и единственно возможный.

То обстоятельство, что я выжил и дотянул до нынешних своих без малого уже сорока лет, есть само по себе почти чудо. (Ибо что есть чудо? Суперпозиция маловероятных событий, и ничего более.)

В тридцать седьмом году отца исключили из партии. Он пришел домой в начале первого ночи, сел за стол, положил мертвые руки по обе стороны от тарелки с борщом и сидел тихо — черный, с мертвыми глазами, мертвый, он даже не дышал — так, по крайней мере, показалось матери, которая все